

*Prečtěte si úryvek z knihy **Zinkoví chlapi** od Světlany Alexijevičové. Přeložte tučně označené části.*

– Ко мне пробивались только голоса... Как я ни напрягался, голоса были без лиц. Они то уходили, то возвращались. Кажется, успел подумать: „Умираю“. И открыл глаза...

Я пришел в себя в Ташкенте на шестнадцатый день после подрыва. Когда приходишь в сознание, чувствуешь себя мерзко, кажется, что лучше не быть... Уже назад не возвращаться... Было бы комфортнее. Туман и тошнота, это даже не тошнота, а захлебывание, как будто в легких полно воды. Долго выходишь из этого состояния. Туман и тошнота... Голова болит от собственного шепота, громче шепота говорить я не мог. Позади уже был кабульский госпиталь. В Кабуле мне вскрыли череп – там была каша, удалили мелкие кусочки костей, собрали на шурупы без суставов левую руку. Первое чувство: сожаление о том, что ничего не вернется, не увижу друзей, самое обидное – не смогу залезть на турник.

Провалялся по госпиталям без пятнадцати дней два года. Восемнадцать операций, четыре – под общим наркозом. Про меня студенты курсовые писали: что у меня есть, чего у меня нет. Сам побриться не мог, брили ребята. Первый раз они вылили на меня бутылку одеколona, а я кричу: „Давайте другую!“ Нет запаха. Я его не слышу. Вытащили все из тумбочки: колбасу, огурцы, мед, конфеты – ничего не пахнет! Цвет есть, вкус есть, а запаха нет. Чуть с ума не сошел! Пришла весна, деревья зацвели, а я все это вижу, а не слышу. У меня вынули полтора кубических сантиметра мозга, и, видно, какой-то центр был удален, тот, с которым связаны запахи. Я и сейчас, пять лет прошло, не слышу, как пахнут цветы, табачный дым, женские духи. Одеколон могу услышать, если запах грубый и сильный, но флакон надо сунуть под самый нос. Видно, оставшаяся часть мозга взяла потерянную способность на себя. Думаю, так.

В госпитале получил письмо от друга. От него узнал, что наш бэтээр подорвался на итальянской фугасной mine. Он видел, как вместе с двигателем вылетел человек... Это был я...

Выписали меня, дали пособие – триста рублей. За легкое ранение положено сто пятьдесят, за тяжелое – триста. Дальше живи, как хочешь. Пенсия – гроши. Переходи на иждивение к родителям. У моего отца без войны – война. Поседел, гипертоником стал.

На войне я не прозрел, я стал прозревать после. И все закрутилось в обратную сторону...

Призвали меня в восемьдесят первом. Война шла уже два года, но на „гражданке“ о ней знали мало и говорили мало. В нашей семье считалось: раз правительство послало туда войска, значит, надо. Так рассуждали мой отец, соседи. Не помню, чтобы у кого-нибудь было другое мнение. Даже женщины не плакали, все это было еще далеко и не страшно. Война и не война, если война, то какая-то странная, без убитых и пленных. Еще никто не видел цинковых гробов. Это потом мы узнали, что гробы уже в город привозили, но хоронили тайком, ночью, на могильных плитах писали „умер“, а не „погиб“. Но никто не задавался вопросом: с чего это вдруг у нас стали умирать в армии девятнадцатилетние парни? От водки или от гриппа? А может, апельсинами объелись? Плакали их близкие, а остальные жили, как жили, если их не коснулось. В газетах писали, что наши солдаты строят мосты, сажают аллеи дружбы, а наши врачи лечат афганских женщин и детей.

В витебской „учебке“ не было секретом, что нас готовят в Афганистан. Многие старались „откосить“ любой ценой. Один признался, что боится, мол, нас там всех перестреляют. Я стал его презирать. Перед самым отъездом еще один отказался ехать: сначала обманывал – потерял комсомольский билет, билет нашелся, придумал – девушка у него рождает. Я считал

его ненормальным. Мы ехали делать революцию! Так нам говорили. И мы верили. Представлялось впереди что-то романтическое.

Пуля натывает на человека, ты слышишь – его не забыть, ни с чем не перепутать – характерный мокрый шлепок. Знакомый парень рядом падает лицом вниз, в едкую, как пепел, пыль. Ты переворачиваешь его на спину: в зубах зажата сигарета, которую только что ему дал. Она еще дымится... Я не готов был стрелять в человека, я еще из мирной жизни. Из мира... Первый раз действуешь как во сне: бежишь, тащишь, стреляешь, но ничего не запоминаешь, после боя не можешь рассказать. Все будто за стеклом... За стеной дождя... Как страшный сон видишь. От испуга просыпаешься, а вспомнить ничего не можешь. Чтобы испытать ужас, оказывается, надо его запомнить, привыкнуть к нему. Через две-три недели от тебя прежнего ничего не остается, только твое имя. Ты – это уже не ты, а другой человек. Думаю, так... Видно, это так... И этот другой... Этот человек при виде убитого уже не пугается, а спокойно или с досадой думает о том, как будет его стаскивать со скалы или тянуть по жаре на себе несколько километров. Он не представляет... А он уже знает, как пахнут на жаре вывернутые внутренности и не выстирывается запах человеческого кала и крови. Воображение? Воображение притихает. Ты видишь: в грязной луже расплавленного металла скалятся обгоревшие черепа – будто несколько часов назад тут не кричали, а смеялись, умирая. Но все вдруг обыкновенно... Просто... Появляется обостренное и волнующее возбуждение при виде убитого: не меня! Это так быстро происходит... Вот такое превращение... Очень быстрое. Оно происходит со всеми.

Для людей на войне в смерти нет тайны. Убивать – это просто нажимать на спусковой крючок. Нас учили: остается живым тот, кто выстрелит первым. Таков закон войны. „Тут вы должны уметь две вещи – быстро ходить и метко стрелять. Думать буду я“, – говорил командир. Мы стреляли, куда нам прикажут. Я был приучен стрелять, куда мне прикажут. Стрелял, не жалел никого. Мог убить ребенка. Ведь с нами там воевали все: мужчины, женщины, старики, дети. Идет колонна через кишлак. В первой машине глохнет мотор. Водитель вылезает из кабины, поднимает капот... Пацан, лет десяти, ему ножом – в спину... Там, где сердце. Солдат лег на двигатель... Из мальчишки решето сделали... Дай в тот миг нам команду – превратили бы кишлак в пыль. Стерли. Каждый старался выжить. Думать было некогда. Нам же по восемнадцать-двадцать лет. К чужой смерти я привык, а собственной боялся. Видел, как от человека в одну секунду ничего не остается, словно его совсем не было. И в пустом гробу отправляли на родину парадную форму. Чужой земли насыплют, чтобы нужный вес был... Хотелось жить. Никогда так не хотелось жить, как там. Вернемся из боя, смеемся. Я никогда так не смеялся, как там. Старые анекдоты шли у нас за первый сорт. Вот хотя бы этот...

Попал фарцовщик на войну. Первым делом выяснил, сколько чеков стоит один пленный „дух“. В восемь чеков оценен. Через два дня стоит пыль возле гарнизона: ведет он двести пленных. Друг просит: „Продай одного. Семь чеков дам“. – „Что ты, дорогой. Сам за девять купил“.

Сто раз будет кто-нибудь рассказывать – сто раз будем смеяться. Хохотали до боли в животах из-за любого пустяка.

Лежит „дух“ (так мы называли душманов-моджахедов) со словарем. Снайпер. Увидел три маленькие звездочки – старший лейтенант... Полистал словарь: за три звездочки – пятьдесят тысяч афгани. Щелк! Одна большая звезда – майор – двести тысяч афгани. Щелк! Две маленькие звездочки – прапорщик. Щелк! Ночью главарь расплачивается: за старшего

лейтенанта – дать афгани, за майора – дать афгани. За... Что? Прапорщик?! Ты же нашего кормильца убил. Кто сгущенку и консервы, кто одеяла нам продаст? Повесить!

О деньгах говорили много. Больше, чем о смерти. Я ничего не привез. Осколок, который из меня вытащили, – и все. Кто-то брал... Фарфор, драгоценные камни, украшения, ковры... Это на боевых, когда ходили в кишлаки. Кто-то покупал, менял... Рожок патронов за косметический набор: тушь, пудра, тени для любимой девушки. Патроны продавали вареные... Пуля вареная не вылетает, а выплевывается из ствола. Убить ею нельзя. Ставили ведра или тазы, бросали туда патроны и кипятили два часа. Готово! Вечером несли на продажу. Бизнесом занимались командиры и солдаты, герои и ово! Вечером несли на продажу. Бизнесом занимались командиры и солдаты, герои и 18 трусы. В столовых исчезали ножи, миски, ложки, вилки. В казармах недосчитывались кружек, табуреток, молотков. Пропадали штыки от автоматов, зеркала с машин, запчасти... В том числе и награды... В дуканах брали все, даже тот мусор, который вывозился из гарнизонного городка: консервные банки, старые газеты, ржавые гвозди, куски фанеры, целлофановые мешочки... Мусор продавался машинами. Доллар и вода всегда найдут себе дорогу. Везде. Солдат мечтал... Было три... Три солдатских мечты: купить платок матери, подружке – косметический набор, а себе плавки, тогда плавков в Союзе не было. Вот такая это была война.

Нас зовут „афганцами“. Чужое имя. Как знак. Метка. Мы не такие, как все. Другие. Какие? Я не знаю, кто я: герой или дурак, на которого надо пальцем показывать? А может, преступник? Уже говорят, что это была политическая ошибка. Сегодня тихо говорят, завтра будут громче. А я там кровь оставил... Свою... И чужую... Нам давали ордена, которые мы не носим... Мы еще будем их возвращать... Ордена, полученные честно на нечестной войне... Приглашают выступить в школы. А что рассказывать? О боевых действиях... О первом убийстве... . О том, как я до сих пор боюсь темноты, если что-нибудь упадет – вздрагиваю... Как брали пленных, но до полка не доводили... Не всегда... (*Молчит.*) За полтора года войны я не видел ни одного душмана живого, только мертвых. О коллекциях засушенных человеческих ушей? Боевые трофеи... Ими хвастались... О кишлаках после артиллерийской обработки, похожих уже не на жилье, а на разрытое поле? Об этом, что ли, хотят услышать в наших школах? Нет, там нужны герои. А я помню, как мы разрушали, убивали и тут же строили, раздавали подарки. Все это существовало так рядом, что разделить до сих пор не могу. Боюсь этих воспоминаний... Прячусь от них. Отмахиваюсь... Не знаю ни одного человека, кто бы вернулся оттуда – и не пил, не курил. Слабые сигареты меня не спасают, ищу „Охотничьи“, которые мы там курили... А курить врачи запрещают... У меня половина головы из железа. И выпить не могу...

Не пишите только о нашем афганском братстве. Его нет. Я в него не верю. На войне мы были объединены: нас одинаково обманули, мы одинаково хотели жить и одинаково хотели домой. Здесь нас объединяет то, что у нас ничего нет, а блага в нашей стране раздают по благу и привилегиям. А нам должны за кровь. У нас одна проблема: пенсии, квартиры, хорошие лекарства, протезы, мебельные гарнитуры... Решим их, и наши клубы распадутся. Вот я достану, пропихну, выгрызу себе квартиру, мебель, холодильник, стиральную машину, японский „видик“ – и все! Сразу станет ясно, что мне в этом клубе больше делать нечего. Молодежь к нам не потянулась. Ей мы непонятны. Вроде приравнены к участникам Великой Отечественной войны, но те Родину защищали, а мы? Мы были в роли немцев – как мне один парень сказал. Думаю так... Так... Так они на нас смотрят... А мы на них злы. Они тут музыку слушали, с девушками танцевали, книжки читали, пока мы там кашу сырую ели и

подрывались на минах. Кто там со мной не был, не видел, не пережил, не испытал – тот мне никто.

Через десять лет, когда у нас вылезут наши гепатиты, контузии, малярии, от нас будут избавляться. На работе, дома... Нас перестанут сажать в президиумы. Всем мы будем в тягость... Зачем ваша книга? Для кого? Нам, кто оттуда вернулся, все равно не понравится. Разве расскажешь все как было? Как убитые верблюды и убитые люди лежат в одной луже крови, их кровь перемешалась. Кому это нужно? Мы дома всем чужие. Все, что у меня осталось – это мой дом, жена, ребенок, которого она скоро родит. Несколько друзей оттуда. Больше я никому не верю. И уже не поверю.

Рядовой, гранатометчик